

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ:

«Мы учимся одиночеству...»

Самоубийства тоже бывают разные: тяжкие — когда уж наверняка, и другие — когда почти понарошку, «демонстративно-шантажные», вроде чтобы поугаать: «вот до чего довели...».

Но самоубийства — это все равно всегда страшно: одним, последним движением человек подтверждает свою отвергнутость, отторженность от людей — живую или реальную. И пьяный бомж, и поэт Юлия Друнина сами приняли окончательное решение.

Писатель Светлана Алексиевич опубликовала весной * новую документальную повесть «Зачарованные смертью»...



Что может быть выше одной человеческой жизни! А у нас она ничего не стоит. О самоубийствах говорят вскользь...

говорили? О «туннеле», о «полете»? — Ничего подобного никто не говорил. — Может быть, потому, что у нас были одни самоубийцы? Там, у Моуди, было доказано, что человек не должен убивать сам себя. — Не берусь судить, но чувствую там, у Моуди, какую-то имитацию. — Однако книги, подобные книге Моуди, вселяют какую-то надежду. Возвращают Бога... — И ощущение, что человек где-то как-то должен ответить? Может быть. Давайте о другом. Вот у нас сейчас начинается капитализм в нерелигиозной стране. Это будет такое зверство — что-то страшное!

— Вашу новую книгу, Светлана, называют книгой о самоубийцах. Так проще всего назвать. Но, видимо, самое точное определение дали вы сами в предисловии: «...Образ моего времени, каким я его вижу». Неужели наше время и вправду такое страшное?

— Трагическое. Оно не страшное — оно трагическое. Оно трагическое в том смысле, что оно вызов гордыне человеческой. Это очень сложно, я об этом пыталась в самом начале сказать. Это результат нашего типа культуры, того, что случилось в 1917 году. Ведь нельзя сказать, что пара человек тогда взяли и перевернули мир. Значит, это пало на какую-то почву?

Видимо, речь вести можно о каком-то определенном типе сознания. Сколько я езжу по миру — и только у нас, как приедешь, начинаются философские разговоры о переустройстве мира! Зайдите к людям — много вы видели нормальных квартир? Нормальных домов? Нормальных разговоров с детьми? Зато все знают, как переделать земной шар, как вообще обустроить Россию, так?

Я не знаю, какой это тип — русский ли, славянский ли. К сожалению, мы были выключены из философской мысли. И тот духовный багаж, который у нас был когда-то, — его не стало. То, что произошло за последние 70 лет, породило какой-то еще более удивительный тип людей. Я его люблю, потому что это мой отец, моя мать, это мои родственники, это мои друзья. Но... Мы — другие.

...Меня всегда интересовал человек в условиях сверхнасилия. Война — это сверхнасилие, тоталитарная система — это сверхнасилие. Я в принципе всегда пишу о человеке в условиях сверхнасилия.

...Я космополит по своему сознанию. После Чернобыля странно быть не космополитом, когда чувствуешь свое единство с бабочкой, а не... раздельность с человеком, у которого другая форма носа.

— Вы в нашем прошлом — советском социалистическом мире — увидели непонятную тенденцию: «Надо познаться, что нас учили умирать, и мы хорошо научились умирать». Гораздо лучше, чем жить? С этим довольно трудно согласиться.

— Но ведь никто из нас не жил для себя! Вот лично я только сейчас учусь жить своей жизнью. Нас всех учили... с барабаном и знаменем. Вот почему исчезло ощущение дома, семьи... А сейчас я все чаще слышу, как человек вдруг говорит: ты знаешь, у меня появилось желание идти домой, ты знаешь, я впервые за несколько лет занимался сыном — да пошла «они» ко всем чертям! Да «все это» не стоит того! Что я, из-под крышки гроба буду вспоминать, как я бегал по демонстрациям? Или как я защищал Ельцина или Хасбулатова? Человек вернулся к себе.

...Один человек очень хорошо сказал, что главное испытание, которое мы должны пройти сейчас, — это испытание одиночеством. Есть самоценность нашей жизни. Есть, помимо идей, твоя личная жизнь. А этого всего не было. Достаточно вспомнить всю ту нашу литературу с ее производственными романами...

— Сейчас мы по-другому вспоминаем, кто становился у нас героем, на каких примерах воспитывался героизм. Помните — 21 год назад погиб молодой парень, спасая колхозный хлеб и свой старый трактор...

— Да, и Симонов написал ужасную статью. У меня тоже один герой говорит, что у его папы жизнь всегда чему-то равна. Спасенному трактору. Чему-то еще. «Вот если бы я пузком лег на мину — его жизнь не зря».

Я думаю, военная наша литература в каком-то смысле, несмотря на все сложности и драматизм ее развития, вообще-то устранивала тоталитарную систему. Она воспитывала жертвенность: ты должен исчезнуть в этом Большом, в этой Цели. Военные писатели не отучали от войны, а приучали к ней, к мысли, что ты должен погибнуть, и какой ценой, какая великая это будет жертва.

Идеализм, как видно, рождается в нищете. И в насилии. Это поразительно — такое количество идеалистов. Сейчас их будет меньше. Сейчас будет время прагматиков. И я не знаю, хороши ли те идеалисты, которые сейчас сидят и ругают государство и ничего не способны делать. Я может быть, не очень люблю и прагматиков, но они мне все-таки ближе.

Интеллигенция абсолютно растеряна. А те, кто выходит на экраны телевизора, кому мы только недавно поклоня-

лись... — такое ощущение, как будто все они в нафталине.

Я размышляла над причиной их невключенности в это новое время. Возможно, перемены совпали с их возрастом. В 60—70 лет у нас люди уже без энергии. Во Франции — Боже мой! — он, как юноша, в 70 лет с шарфом бегаёт, какая у него энергия жизни, чего я никогда у наших стариков не вижу.

— Знаете, наверное, это от чего? Они — люди цельные. У них цельная история. А у нас — ступенчатая. Каждый раз новое поколение сбрасывает предыдущее. Наши старики — «сброшенные» люди.

— Не знаю. Они на Западе тоже ведь недовольны своей цивилизацией, и у них были достаточно жесткие условия жизни...

— Потом, знаете, у нас лебяти православие. А там — либо протестантский мир, либо католичество Другая этника.

— Вот они тоже считают, что многие наши проблемы связаны с нашей православной — на других языках «ортодоксальной» — церковью. Они говорят: если бы у вас была другая церковь, вы были бы совсем другой народ. Это коллективистское сознание, эта жертвенность, соборность, социализм, наконец...

Мы соборные люди, у нас нет опыта жизни в одиночку. Вот сейчас для меня самое трудное — видеть, как какая-нибудь бабушка возьмет кусок «собачьей» колбасы, там написана сверхъестественная цена, и она его тудасюда, тудасюда... Лично у меня — все, день испорчен. Во-первых, я не могу подойти к ней, купить ей что-нибудь — я ее этим унижу, не всегда чувствуешь, к кому можно подойти. Во-вторых, мы просто не можем быть счастливы в одиночку. А если начнем снова делать счастье для всех — опять коячиться кровью, как всегда.

— Не дай Бог. Но вернемся к вашей книге. «Мифы боятся одного — живых человеческих голосов. Свидетельств. Даже самых робких...» Ваш первый герой — 87-летний старик, старый большевик, строитель коммунизма, строитель и директор по профессии почти фанатик. Не потонули ли вы его своим интервью на некоторые «нежелательные» воспоминания?

— Нет, у меня было ощущение того, что он хотел выговориться.

Одна женщина очень хорошо сказала: «Я была вынуждена говорить, иначе прошлое стало бы моим диагнозом».

Люди — в одиночестве. У церкви опыт только государственной власти.

— У католической — огромный опыт непосредственного общения с людьми.

— Да. Они занимаются душами.

...В «Цинковых мальчиках» у меня была главная тема — сколько человека в человеке. Насколько тоненьким оказался слой культуры, которым он защищен! И потому, когда человеку устраивали страшные испытания, он их не выдерживал. И не надо его перед искушениями этими ставить, чтобы потом его винить. Сделайте лучше ему человеческую жизнь, а не доводите до собачьего состояния, чтобы потом говорить: смотрите, какой зверюга сидит! Ведь когда какую-нибудь дорогу строили, вместо того чтобы подвезти ящик апельсин, доводили людей до истощения, они возвращались больные...

— Но герои. Сколько человека в человеке... Сейчас — разве не время искушений? Другому вашему герою, фронтовику, подростки кричали: «Победитель! Если бы ты не победил, мы бы сейчас баварское пиво пили!»

— Я этим рассказом просто хотела сказать, что нам жить друг с другом. Я не могла ни одних, ни других судить. Они не ведают, что творят. Ни одних, ни другие. Ни этот старик, который считает, что социализм все-таки был в войну. Ни эти дети, у которых форма протеста на том уровне культуры, которая в них воспитана. И на уровне нетерпимости скорей все займет, потому что это все драматично, этого всего много, реклама горит, всем хочется праздника.

Терпение друг к другу. Любый человек пусть живет так, как он живет. Это то, чего не может терпеть, не принимает большевик.

Да и даже наши депутаты-демократы. Они такие же страшные, как и недемократы. Понимаете, вот если другой человек по-другому думает, значит, надо сносить ему голову или сажать в тюрьму. Все это военное мышление. То мышление, в котором мы воспитывались.

— А вы никогда не задумывались Светлана, вот над чем: предпринятый промышлениности бывшего Союза был ориентировано на войну. А это что такое? Это 60—70 процентов рабочих

трудились над изготовлением орудий убийства. Мы тут все три женщины, нам это легче понять. Мужчины никак и ни за что не смогут осознать, что все эти пушки, самолеты, бомбы, ружья — это все для того, чтобы лишить кого-то жизни. Или в массовом масштабе — атомные бомбы. Или в «местном» — пистолет или ножик.

— Мысль об убийстве, по разумению многих, — нормальная мысль...

— Помните, мы спонсорно проносили слово «орудие массового уничтожения». Мы сидели интеллигентично в редакции, а какая-нибудь тетя Дуся точила стволы, начинала гранаты или электронное что-то делала. И все на войну, все для уничтожения. Называлось правда, по-другому — на оборону.

— Да. Это как двадцать пятый кадр входило в сознание. И все становилось другим — одежда, образ мышления. А философская мысль даже не задавалась таким вопросом. Как действует оружие на сознание человека. Что чувствует человек, который делает оружие, которое должно убивать.

— У нас только один человек над этим задумался, который создал водородную бомбу, а потом понял, что он сделал. Один человек. Это был, может быть, один-единственный демократ, один-единственный жизнелюб, но который через такое испытание собственное прошел! Слава Богу, что так никогда, кроме испытаний и не сработало его детство, но ведь он прошел через это! А теперь все общество должно, видимо, повторить путь Сахарова. Я не имею в виду только наше общество, российское, но вообще весь мир...

— Культ насилия, не избавляемся от культа насилия...

...У меня такое желание — учиться жить. Я не знаю только, как можно учиться жить в этом бедламе, в этой нищете. Но жизнь... Вы понимаете, я веду в саму жизнь... Само продвижение по этому пути, это как вода, оно все-таки затянет людей!

...Что может быть выше одной человеческой жизни? Достоевского не пошло повторять хотя бы по той причине, что ничего не изменилось. А жизнь человеческая — она у нас ничего не стоит. Вы посмотрите, как вскользь у нас говорят о самоубийствах...

— Кстати, вы не смотрели статистику самоубийств у нас и в других странах?

— В Венгрии самое большое количество самоубийств. — Венгрия на таком же рубеже находится, как и мы... — Но и в Швеции большое количество самоубийств. Но там самоубийства другого плана — когда человек идет вовнутрь себя. «Зачем я?» Это очень сложный вопрос. А у нас пока... Одна героиня у меня размышляет: «Вот я бегу в разные очредии — сначала за мылом, потом за мясом, потом в прачечную, а потом еще куда-то... А вечером думаю: ай, не буду об этом думать, то есть о серьезных вопросах, я уставшая, я имею право об этом не думать». Она говорит: «Если бы вдруг «всё» у нас появилось — самоубийств было бы больше. Мы бы вдруг задали вопрос: а что такое с нами было? Почему меня в такую свинью превратили, почему со мной так поскотски обращаются — муж, государство, продавщица, приемщица в ателье. Почему они на меня орут?»

Вот, например, меня когда-то потрясло, что на Западе среди людей, которые сидели в концлагерях, было довольно большое количество самоубийц. Что совершенно не характерно для нашего сознания. Мысль о самоубийстве никогда не занимала наших людей после войны. А у европейцев индивидуальное самознание не удалось простить себе и мучителям пережитого унижения.

А для нас унижение — это нормально.

Вот если кто из нас доживет до ста лет, им будет страшно одиноко...

Мы никому ничего из окружающих не объясним, это будет совершенно другие люди... И наши современники, старики, уже сейчас оказались в действительно сложной ситуации — они дожили до конца идеи. Истинно, говорят они, счастливы те, кто на кладбище лежит, и написано у них: «Член партии с такого-то года».

...У наших людей очень стандартное мышление. О жизни и смерти люди думают мало. Умер — ну... как за дверь вышел. У нас не принято говорить о смерти. Почему? А потому что атеисты.

— Ту будет истина такой вопрос. Известны исследования Роберта Моуди о загробной жизни. Ваши собеседники — самоубийцы (выжившие вопреки своему желанию) пережили или инстинктивную смерть. Что-нибудь они о своих ощущениях

говорила? О «туннеле», о «полете»?

— Ничего подобного никто не говорил.

— Может быть, потому, что у нас были одни самоубийцы? Там, у Моуди, было доказано, что человек не должен убивать сам себя.

— Не берусь судить, но чувствую там, у Моуди, какую-то имитацию.

— Однако книги, подобные книге Моуди, вселяют какую-то надежду. Возвращают Бога...

— И ощущение, что человек где-то как-то должен ответить? Может быть.

Давайте о другом. Вот у нас сейчас начинается капитализм в нерелигиозной стране. Это будет такое зверство — что-то страшное!

Вы посмотрите на эти войны на окраинах империи. Какой Бог? Где? И там даже, где ислам, — то же самое.

— Нет-нет, это разве только внуки наши придут к понятию Бога.

— Для нас, нынешних, возвращенная вера — это не вера, это познание. Или мода, или форма познания. Раздвижение рамок.

— Почему-то мне самой интересной показалась глава про девушку из Абхазии «Через нас село пошло танки. Один оставилсь возле нашего дома. Экипаж русский. Я пошла: «наемники...» Раньше там еще у вас было о Пашке-наемнике... Само сочетание — «русский наемник» — оно совершенно вышибает из седла.

— Сейчас такое, к сожалению, много. Из Афганистана пришло много ребят. Что там произошло? Мы не победили. Этот синдром недовоевания — страшная вещь. И они ищут. Вот только что мы были все равны — и вдруг неравны. А ты вернулся оттуда, ты там жрал песок — и стал никто в этой жизни?

— Знаете, а вот эта Света из Абхазии, которая чуть не повесилась от пережитого. Вы проследили ее судьбу?

— Анна ее имя настоящее. Она сама не написала. Боюсь, как бы она не погибла. Она, говорят, вернулась туда за мамой.

— Там были потрясающие детали в ее рассказе — раненая береманная коша, цветы на клумбах горели...

— А это вот — лежал убитый русский парень, а завтра кроссовки сняли. А вот еще что меня потрясло, про обезьяну, помните? Гонялись-гонялись, грузины думали: абхазец, те — наоборот. Оказалось: обезьяна. Если бы был человек — убили, а обезьяну и те, и другие жалели.

— Самая страшная глава — о самоубийстве мальчика-поэта Игоря Поглазова. Как мать согласилась от этого говорить?

— Это семья из Минска. Они настояли, чтоб в книге была настоящая фамилия.

— Матери тоже надо было выговориться?

— Да! Она очень хотела. Для нее было очень важно, чтобы он не исчез.

— Очень личный вопрос. Чем вы сами, Светлана, спасались после такой, для женского сердца очень мучительной работы?

— Действительно, запас психической энергии не бесконечен. И есть проблема — защитить себя. Но это очень интимная вещь. Единственное, что могу сказать, — у меня все время ощущение, что... ни одну из своих книг я писать не хотела. У меня все время какое-то внутреннее сопротивление. Вот и сейчас о Чернобыле — я эту книгу лет семь не хочу писать. И кончится тем, что все-таки напишу.

— Чернобыль должен «прорасти»...

— Сколько-то во мне уже проросло. Я вижу и чувствую, что люди не понимают, что произошло. Когда бываешь в этих зонах и видишь лысого kota и лысых, совершенно без перьев уток... Я слышу нужные интонации, эти аккорды, и я знаю, что можно пробиться к людям и объяснить какие-то вещи. Вспомните «Цинковые мальчики». Я все ждала-ждала, что вот какой-то мужчина это сделает...

— Наш общий строй, как говорит ваша героиня, «бабочка в бетоне», рассыпался. И вы пишете в предисловии, что «нам надо самим добывать смысл своей жизни. И мы учимся одиночеству, порой — вот такой мучительной ценой». Как же, на ваш взгляд надо учиться одиночеству? Как возродить свою собственную уникальную, неповторимую, отдельно взятую личность, как строить свою собственную жизнь? Знаете вы такой рецепт?

— Не знаю... Не знаю. Но первое, что я, например, сделала, — я сделала свой дом так, как я хочу. И я замечаю, что все чаще и чаще могу ахнуть, глядя на то, какой мир красноречив.

По-моему, сейчас надо говорить с розановской такой интонацией: вот я поставлю стул и буду смотреть, как солнышко заходит. Что-то надо нам поменять. Какую-то интонацию во взаимоотношениях друг с другом.

...Однажды я зашла в церковь. Там стояла женщина с ребенком. Ребенок спал. Девочка спала у нее на руках, и ей было тяжело держать. И люди стали ей помогать, чтобы она не ушла. И все стали этого ребенка поддерживать. Но как они это делали! Они ни слова не говорили, они были просто бережные движения. Я поиню, впервые увидела, как люди могут быть вместе, но эта вместесть была уже совершенно другая. Это было как бы те же люди, но у них даже лица были другие. И главное, ничего не говорили, что меня удивило. Не гордились...

Беседу вели Ольга ЕГОРОВА, Татьяна КОРСАКОВА. (Наши спец. корр.) Минск. Фото А. МАТЮША.

* «Дружба народов», № 4, 1993 г.